

***В.А. ТАТАРИНОВ***

**ПРОБЛЕМЫ ФИЛОСОФСКОЙ РЕФЛЕКСИИ  
В НАУЧНОМ ПЕРЕВОДЕ**

Научный перевод как вид переводческой деятельности существует со времен оных, но до сих пор не имеет четкой аспектации своих проблем. Вынесенные в заголовок статьи философские проблемы научного перевода являются такими аспектами, изучение сути которых все еще не становится предметом постоянной рефлексии переводоведов. Чаше над философской стороной перевода задумываются сами философы, высказывания которых хотя и не имеют переводчески-категориального статуса, определяют во многом пути формирования философской основы научного перевода.

Значительный вклад в философию перевода как аспект научного перевода внесли представители научного направления, называемого философией науки. Философию науки можно определить как научное направление, которое занимается изучением сущностных характеристик научной деятельности, исследует закономерности этой деятельности, методы научного познания и социальные институты, в которых ведется научная работа. При этом очевидно, что понимание науки и ее целей в различных философских направлениях различно. Наш интерес к философии науки сводится к следующему общему знаменателю. С момента возникновения философии науки и до настоящего времени философы науки всегда обращались к феномену языка и его роли в научных исследованиях. Своего рода космополитическая оценка языка науки и его определяющих функций в научной работе представляет очевидный интерес для переводчиков научных текстов.

Потребуется довольно много времени, чтобы восстановить хронологию и концептуальность лингвоцентризма в философии

науки. По-прежнему для некоторых ученых вполне приемлемо вести рассуждение в направлении от Гадамера к Витгенштейну, как, например, в работе (13), или опираться в комментариях о сути термина на вульгарно-стандартизационные взгляды 60-х годов. (Там же). Я попытаюсь восстановить историческую логику отношения к языку науки в философии.

Уже основатели философии науки У. Уэвелль (1794–1866) и Дж.С. Милль (1806–1873) дали четкие ориентиры в функциях языка науки в научном исследовании. Огрубляя в какой-то мере их размышления, можно усмотреть в них две основные линии. Это стремление отграничить язык науки от обычного языка и желание проникнуться спецификой научных слов. Автономизация языка науки, считает В. Уэвелль, идет по линии придания отдельным словам «господствующего» смысла, что превращает язык обыденный в язык технический. Терминология, по его мнению, становится орудием познания, которое дает возможность порождать прогрессивное знание и обобщать факты науки. При изучении терминологии необходимо как проникнуться смыслом словесных выражений, так и обладать «собственными впечатлениями и знаниями».

При этом исследователь не должен подменять факты природы изучением и построением классификаций и научной фразеологии. В. Уэвелль положительно относится к синонимии в языке науки и не придает большого значения систематичности терминологии. Проблема разграничения терминологии и номенклатуры стала одной из ведущих проблем в отечественном терминоведении. Окончательное суждение, как эти ученые понимали эти две категории специальных слов, вряд ли удастся получить. Оба ученых, возвращаясь к этой проблеме неоднократно, видели в ней каждый раз разные аспекты. Лингвофилософские аспекты языка науки в понимании Уэвелля и Милля представлены в извлечениях из книги Уэвелля «История индуктивных наук от древнейшего и до настоящего времени» и книги Милля «Система логики силлогистической и индуктивной» в хрестоматии (17, т. 2, кн. 1).

Научный язык позднее стал непосредственным объектом изучения методологии науки, причем интерес к научному языку шел по пути сопоставления разных языков. Значительный вклад в изучение языка науки внес Ж.А. Пуанкаре (1854–1912). Приведу

несколько цитат из его книг «Ценность науки», «Наука и метод», «Последние мысли».

«Точно определенный язык – вещь весьма небезразличная. Возьмем пример из области той же физики. Неизвестный изобретатель слова “теплота” ввел в заблуждение целые поколения. Теплоту стали рассматривать как вещество (просто потому, что она была названа именем существительным) и стали считать ее неуничтожаемой. Но, с другой стороны, тот, кто ввел в науку слово “электричество”, снискал незаслуженную честь подарить физике новый закон – закон сохранения электричества, который, благодаря чистой случайности, оказался точным; так, по крайней мере, было до настоящего времени» (там же, с. 90–91).

«Вся творческая деятельность ученого по отношению к факту исчерпывается высказыванием, которым он выражает этот факт. Если он предсказывает какой-нибудь факт, он употребит это высказывание, и его предсказание будет совершенно недвусмысленно для всех тех, кто умеет употреблять и понимать язык науки. Но раз ученый сделал это предсказание, то, очевидно, не от него зависит, осуществится оно или нет» (там же, с. 94).

«Не существует слов, общих всем языкам, и мы не можем иметь притязаний построить какой-то универсальный инвариант, который был бы в одно время понятен и для нас, и для тех воображаемых неевклидовых геометров, о которых только что шла речь, – точно так же, как нельзя построить фразу, которая была бы понята сразу немцам, не знавшим французского языка, и французам, не знающим немецкого языка. Но у нас есть неизменные правила, позволяющие нам переводить французскую речь на немецкий и обратно. Но возможность перевода означает существование инварианта. Перевести как раз и означает: выделить этот инвариант. Подобно этому дешифровать криптографический документ – значит отыскать то, что остается в этом документе неизменным при перемене его знаков» (там же, с. 95–96).

Как мы увидим позднее при рассмотрении существа перевода научных текстов, эти высказывания хотя и содержат очевидную переводческую логику, но остаются по сути своей фрагментарными высказываниями.

Первой попыткой концептуального построения схемы языка науки было исследование гейдельбергского профессора Л. Ольшки

(1885–1961) «Geschichte der neusprachlichen Literatur» (1919–1927 гг., а в переводе на русский язык – 1933–1934 гг.) (21; 14). Общеизвестный факт – наука воплощена в тексте, написанном на языке, – Л. Олышки делает фактом науки, предметом научного исследования. К моменту создания труда Олышки было еще неизвестно, какая отрасль научного знания будет заниматься языком научной литературы (сам Олышки был литературоведом), но уже само «обнаружение» нового объекта исследования было значительным научным достижением.

Однако определить границы нового объекта (язык научной литературы) было довольно сложно. Вот, например, как звучала первая фраза «Введения»: «История научной литературы неизбежно сводится к истории наук» (14, Т. 1, с. 3). Автор так и не смог отделить историю науки от истории научной литературы. Безусловной заслугой Олышки была попытка разработать понятийно-категориальный аппарат научного изучения языка науки. Эксплицитно ученый предложил следующие задачи исследования научной литературы: язык и наука, язык в естественно-научной литературе, техническая литература на новых языках, латынь как язык техники, как язык науки, форма изложения, терминология (кого-либо, какая-либо), стиль (кого-либо, какого-либо описания), язык и стиль, народная и ученая (научная) терминология, слово и образ, специальные выражения, преимущества и недостатки ученого языка, номенклатура описательных наук, новый научный стиль, обогащение языка, научный язык, язык (кого-либо), борьба взглядов и борьба языков, открытия и научная терминология, образ и понятие, идеальный стиль научного изложения.

Состав проблем для начального этапа изучения языка научной литературы более чем представителен. Некоторые из заявленных тем так и остались вскользь упомянутыми. Следует заметить, что способом представления материала в работе Л. Олышки избраны хронология науки и научные категории, но отнюдь не проблемы научной литературы как таковые. Только в третьем томе в оглавлении ощущается сгущение лингвостилистической тематики. Во введении ученый определяет филологический предмет своего исследования следующим образом: «История наук, раньше представлявшая собою расположенное в хронологическом порядке изложение биографий ученых и их достижений и ставшая в настоящее время ис-

торией научных проблем и их решений, не в состоянии очертить фазы этого процесса очищения, поскольку она принципиально отказывается от рассмотрения параллельно происходившего процесса развития языка. В то время как филология не интересуется образованием научного языка и оформлением научной прозы, история философии, математики и естественных наук рассматривает язык как уже данное, всегда готовое к услугам и не всегда необходимое средство для выражения идей и умозаключений, а также для их передачи и распространения. В частности естественные науки, оперирующие символами и формулами, обычно рассматривают слово в этой его пассивной роли и не интересуются постоянными связями, существующими между понятием и его выражением... Если физик и математик вообще не считают язык необходимым предварительным условием своего мышления, то все же и с их точки зрения язык является неизбежным средством уточнения оттенков мысли, исконным орудием «научной стройки», от свойств которого зависит совершенство всякого приобретенного познания. Мыслители и изобретатели видели роль языка не только в этом. Они творчески определяюще воздействовали на его развитие и уточнение, поскольку богатство современного им народного и литературного языков, составлявшее также их достояние, представляло таинственно и постоянно воздействующий на мышление стимул и средство адекватного выражения идей... Мы рассмотрим, в какой взаимной зависимости находится развитие наук и развитие языка и каковы отношения между науками и литературой» (17, т. 2, с. 54–55).

Самая ценная терминологическая рефлексия Ольшки находится непосредственно в его текстах. Вот как Ольшки описывает процесс терминологизации слов итальянским ученым Альберти: «Мы встречаемся здесь впервые с терминологическим определением слова в тексте, написанном на неродном языке. Подобно тому как это сделал через двести лет Галилей, Альберти хочет путем лексического указания утвердить старое слово в его новом смысловом значении, создать *terminus technicus*. Метод при этом ясен: сначала сознательное сравнение, аналогия, образ, возникающий из чувственного восприятия, из художественно-комбинаторной способности, чтобы потом, элиминируя образное, создать мертвый образ, превратить его в *terminus technicus* путем применения к чисто интеллектуальному факту. Альберти был вынужден к такому опре-

делению названного слова, потому что оно в этом значении никогда не употреблялось и потому что оно обозначает математическое понятие» (там же, с. 55).

С аналогичной поддержкой такого способа терминопроизводства Л. Ольшки пишет о Дюрере, цитируя его размышления: «Эллипс я назову яйцевидной линией, потому что он похож на яйцо. Параболу мы будем называть зажигательной линией, потому что из нее изготавливают зеркало, которое зажигает. А гиперболу я назову вилкообразной линией». Ольшки утверждает, что слово, созданное таким образом, «должно при помощи знакомых языковых элементов способствовать возникновению или прямо вызывать ясное представление о соответствующем предмете» (там же, с. 55–56).

Не ушла от внимания Ольшки и проблема неоднозначности, текучести или непоследовательности в употреблении терминологии. Все эти грехи приписываются терминологии средних веков. «Мы привыкли к однозначности специальных выражений, – несколько самоуверенно говорит Ольшки, – ученые же Средневековья не знали этого, и только Галилей твердо установил необходимость строго и последовательно определять всякий термин путем номинальной или абстрактной дефиниции» (там же, с. 55). Придавая большое значение языку в научной деятельности, Ольшки в то же время отрицательно относится к разнозначности понятий, призывая заниматься не лингвопонятийными аналогиями, а «верными наблюдениями».

Вот его приговор «чисто лексическим» экскурсам в науку (ученый говорит о мыслителях Возрождения): «В области *ratio*, которую не всегда возможно отличить от *imaginatio*, господствует язык. Комбинации слов ведут к заключениям по аналогии. *Contraria* (противопоставления), существенная составная часть натурфилософской логики и теории познания в эпоху Возрождения, находятся под сильным влиянием оборотов языка и школьных привычек. Подобно тому как оказавшиеся столь долговечными логические категории Аристотеля являются также (или даже по преимуществу) грамматическими, у схоластиков и натурфилософов их мнимые аналогии и различия по существу являются на самом деле чисто лексическими. Если такие слова, как *notio*, *conceptus*, *idea* и *cogitatio*, *natura* и *essentia*, *forma*, *species*, *attributum* и много других слов, которые Декарт признал однозначными, должны всякий раз

выражать особый оттенок понятия, как думали схоластики и натурфилософы, то такие различия и разделения могли производиться лишь насильно и при помощи этимологического инстинкта, который и теперь спасает примитивные головы от многих затруднений. Между теорией познания, логикой, диалектикой и грамматикой существует старая и неизменная связь. Таким образом, вся диалектика наших натурфилософов возведена на сопоставлениях, образующих метафоры и сравнения. Они смешивают сходство с идентичностью. Ход доказательства, обоснование и заключение ведутся у них *per similitudinem* (по сходству); в этом процессе находят применение их остроумие, вкус к художественной игре, их чутье, создавая одновременно софизмы и поэтические вымыслы. Ни один из этих мыслителей не додумался до того, что наука основывается не на ложных аналогиях, а на верных наблюдениях» (там же, с. 56–57).

Но уже на 48-й странице этого же тома Ольшки начинает восхищаться нюансировкой терминов: «Те достижения, которые можно найти у математиков в области языка, ограничиваются, в основном, новообразованиями и изменениями смысла слов для создания терминологии. У них, как и у философов, терминология всего отчетливее выражает своеобразие их мышления и изобретательности: ведь в каждом новом специальном термине содержится или новое понятие, или новый оттенок понятия, которые фиксируются путем определения, т.е. сжатого резюмирования сложного хода мыслей, по его существенным признакам» (там же, с. 57).

На этих же страницах речь идет об отношении понятия к слову, о роли слова в формировании понятия и о смысле, назначении ученой деятельности. Ученые, однозначно считает Ольшки, (по крайней мере на этих страницах своего труда), «только в том случае являются действительными новаторами, если они обогатили науку новыми понятиями и язык новыми словами» (там же, с. 57). Ольшки приводит при этом известное высказывание Э. Маха: «Переход от инстинкта к сознанию определяется только созданием названия» (там же, с. 58). Таким образом, у Ольшки – двойственное отношение к изменениям и нововведениям в науке с помощью лексических новообразований и изменений смысла слов. Постулируется необходимость изучения реальности, а описывается поступа-

тельный ход развития науки через призму творческого развития языка. Ольшки многократно возвращается к этой теме.

Особенно противоречивым в этом отношении были суждения Ольшки, когда он характеризовал языковое поведение Бруно: «У Бруно совершенно нет новообразованного или целесообразно нюансированного термина, который обозначал бы новое философское сознание или остроумно резюмировал бы какую-нибудь теорию. Правда, традиционная схоластическая терминология часто обогащается античными и восточными аналогиями, но не в творческих целях, а для целей истолкования. Но так как эти толкования всегда беглы или произвольны, то они не выясняют лежащего в их основе выражения, а только запутывают его. Мы не в состоянии, например, установить, что понимал Бруно под субстанцией или атомом... Одинаково нецелесообразно как искать у него терминологические новообразования, так и задним числом создавать их для объяснения его теории. ...Большая часть этих слов, а равным образом и многие другие, обретшие снова, благодаря одной только орфографии, свой латинский характер, не имели целью ни новых оттенков в значении слова, ни нового этимологического воскрешения его» (там же, с. 67).

И далее: «...Бруно лишен был как искусства нюансирования их, так и способности обуздывать язык и обогащать его оригинальным образом... Тщетно было бы искать в языке Бруно смелых изменений смысла или метафор, в которых по временам отражается умственное переживание философа и которые увековечивают с помощью магической силы слова как его сочинения, так и его личность» (там же, с. 67). Ольшки на отрицательном (это мнение Ольшки) примере Бруно доказывает неуместность синонимии в терминологии. Бруно, пишет Ольшки, «неутомим» в нанизывании синонимов при описании одного и того же понятия. По мнению Ольшки, Бруно, стремясь с помощью синонимов установить связи между понятиями, приводит свое исследование к еще большей расплывчатости. Бруно же недоволен Аристотелем, который практиковал собственные определения терминов и по-новому определял слова, считает Ольшки. В конечном итоге Ольшки смирился, наверное, и с неоднозначностью, и с синонимией в терминологии. Характеризуя борьбу Галилея за новую терминологию, Ольшки говорит: «В настоящее время мы знаем, что и в научной термино-



логии происходит изменение значения слов, так что обыкновенно не смешивают атомов Демокрита ни с химическими, ни с электрическими атомами. Но во времена Галилея это казалось чем-то новым и неслыханным...» (там же, с. 67).

Терминологическая рефлексия Ольшки весьма аксиологична и в научном отношении несамодостаточна. Это как бы внешний взгляд на терминологию без применения к ней научного аппарата исследования и исследователя. Сейчас кажется даже несколько наивной оценка совершенно различных семантических явлений в терминологии одним словом «неоднозначность». Ведь фактически Ольшки писал и о вариантах, и об омонимах, и о синонимах, и о многозначных терминах, и разном понимании одного и того же термина, но терминоведческий анализ всей этой гаммы разнопорядковых явлений у Ольшки отсутствует. Поэтому ценность в исследовании Л. Ольшки в первую очередь представляют его восторженное отношение к терминологии как культурно-историческому феномену, объективно верная оценка динамических процессов в терминологии и языке и тонкие наблюдения за процессами создания и оформления понятий благодаря языковому творчеству ученых.

Л. Ольшки искуснейшим подбором фактов научной истории показал, что на любом языке можно обсуждать самые сложные вопросы науки, при необходимости создавая новые слова и выражения для новых понятий и дифференциации существующих. Ученый весьма объективно рисует сложную картину привлечения в научные тексты всех возможных разрядов специальной лексики – латинских и греческих слов, диалектизмов, традиционных научных терминов на новых языках. При этом Ольшки способность создавать новую терминологию ставит в прямую зависимость от одаренности и изобретательности ученого. «Несамостоятельности мышления, – пишет Ольшки, – соответствуют парализованность и связанность языка...» (там же, с. 55). Л. Ольшки во введении к своему труду обосновывал проведенное исследование как самостоятельную научную дисциплину.

Колоссальный труд вошел в историю, но новой научной дисциплины не получилось. Всего через два года после книг Л. Ольшки Е. Вюстер публикует свою книгу о стандартизации терминологии, и изучение терминов пошло совсем по другому пути, нежели это предполагал Л. Ольшки.

О. Вюстер (1898–1977) известен в среде терминологов прежде всего как автор диссертации по проблемам терминологии, опубликованной отдельной книгой в 1931 г. в Берлине (24). В советской печати информация о книге О. Вюстера появилась в первом номере «Русско-германского вестника науки и техники» за 1932 г. В третьем номере «Вестника» за тот же год можно найти подробный реферат книги (автор реферата не назван). Активным пропагандистом книги О. Вюстера в СССР стал один из организаторов терминологической работы в нашей стране Э.К. Дрезен (1898–1937).

Однако говорить об активной пропаганде книги О. Вюстера можно только условно. Во-первых, об институционализации самостоятельной дисциплины терминоведения еще даже и не подозревали, тем самым трудно было вести дискуссию в понятийно-категориальном ключе. Во-вторых, социально-идеологический фон приобретал все более конкретные черты. В-третьих, в качестве научного фона служили книги Л. Ольшки, которые отличались своего рода максималистской эпистемологией и характеризовали язык науки и техники как в высшей степени динамическую систему, что в принципе противоречило взятому мировым сообществом курсу на моносемантизацию, унификацию и стандартизацию терминологии.

Чтобы осознать суть и всю сложность пропагандистской ситуации для Э.К. Дрезена, решившего в принципе стать последовательным стандартизатором, необходимо помнить о двух высказываниях Л. Ольшки, приведенных выше, о терминологической номинации Альберти и Дюрера. Лабильность терминологического значения, по Л. Ольшки, – это естественное состояние терминологии. О. Вюстер был знаком с книгами Л. Ольшки и цитировал его с первых страниц своей диссертации. При этом Л. Ольшки цитируется О. Вюстером в определенном ключе, а именно с целью показать, как язык препятствует развитию технической мысли, но не способствует ее текучести и динамизму.

Справедливости ради стоит сказать, что положительная оценка языка у О. Вюстера имеется, но это свойство языка, по его мнению, как раз и вырабатывается значительными усилиями ученых, например стандартизаторами терминологии. Такой подход к языку вполне устраивал Э.К. Дрезена, бывшего в то время ответственным за стандартизацию терминологии в стране. Э.К. Дрезен публикует пространную рецензию на немецкое издание книги

О. Вюстера. Оценки подходов О. Вюстера к термину, представленные в рецензии Дрезена, не подвергались обсуждению терминологии и сохраняют свою актуальность в отечественном терминоведении по сей день.

Рецензия называется «Нормализация технического языка при капитализме и социализме» (7). Ученый утверждает, что О. Вюстер «...не марксист. Его высказывания сплошь и рядом свидетельствуют, что в основном он недалеко ушел от уровня среднего европейского стандартно-интеллигентного буржуа... Но Вюстер подошел в возможной для него мере объективно и беспристрастно к исследованию области, которая сознательно игнорировалась и буржуазной социологией, и буржуазными лингвистами. Изучив определенные явления и факты, Вюстер оказался вынужденным сделать ряд неожиданных для буржуазной науки выводов...» (17, т. 1, с. 85). Строй мысли О. Вюстера, по мнению Э.К. Дрезена, ведет к «неизбежности для буржуазного ученого при желании серьезно и возможно беспристрастно изучить какое-либо общественное явление — прийти к выводам, несовместимым с продлением существования капиталистической системы» (там же, с. 89).

Не обошлось у Э.К. Дрезена и без пророчеств: «Но буржуазному ученому и теоретику остается мечтать и рисовать схему, осуществление которой немислимо его классу, но которая осуществима для пролетариата и которая будет им осуществлена» (там же, с. 90). Важным для Дрезена было еще одно высказывание Вюстера: «Вюстер желал бы взять за образец действий при утверждении интернационального языка методы действий, применяемые нормализаторами технического языка в буржуазном обществе. Несомненно, в этих методах имеется много ценного и полезного, что должно быть изучено нами. Но методы нормализации языка, осуществимые в буржуазном обществе и в интересах буржуазии, должны быть критически освоены пролетариатом при решении им проблемы его технического языка и тем более при решении проблемы всеобщего международного языка» (там же, с. 94).

Э.К. Дрезен весьма однозначно, не нарушая своего стиля изложения, определяет профессиональный предмет рецензии: «Но именно все то, что у Вюстера опасно, вредно и неприемлемо для буржуазии, заслуживает у нас пристального внимания, изучения и

критической проработки. Под этим углом зрения нам и следует расценивать работу Вюстера» (там же, с. 90).

В действительности же рецензента волнуют прежде всего феноменальная взаимосвязь компонентов триады «язык – национальный язык – технический язык», а также проблемы нормализации технического языка. Исходная посылка Э.К. Дрезена: «Вюстер определяет язык как “систему звуковых знаков”, копируя в этом отношении формулировку буржуазных языковедов-индоевропейцев. Такое определение языка неправильно и недостаточно» (там же, с. 91). Э.К. Дрезен не соглашается и с определением языка как «орудия общения и связи». В качестве исчерпывающего определения Э.К. Дрезен приводит высказывание К. Маркса и Ф. Энгельса: «Язык – это практически существующее для других людей, а значит существующее и для меня самого реальное сознание» (там же, с. 91).

Э.К. Дрезен почему-то опускает часть высказывания об «общении» людей («Язык возникает лишь из потребности, из настоятельной необходимости общения с другими людьми» [12, с. 29]). Технический язык определяется Э.К. Дрезеном как язык, «используемый инженерами и специалистами для выражения понятий и мыслей, относящихся к их специальным областям» (там же, с. 81). Ему импонирует то, что Вюстер занимается языком «сегодняшнего дня», а не прошлым языка или его неопределенным будущим. Он особенно подчеркивает мысль О. Вюстера о необходимости изучения языка в его взаимосвязи с техническим развитием общества и возникающей необходимостью овладения новой техникой. Э.К. Дрезена привлекает тот факт, что О. Вюстер в своей книге пытается провести идею языкового нормирования, языковых стандартов и регулирования языка техники.

Это позволило бы избавить технический язык от «многомыслия» понятий и выражений, от омонимии и синонимии, неточностей в переводе, псевдоинтернациональности некоторых терминов, то есть создало бы возможность ликвидации номинативного разрыва между возможностями системы языка и усложняющейся техникой. Э.К. Дрезен сожалеет по поводу отсутствия в книге О. Вюстера дискуссии о социальных моментах в развитии языка. В результате он необоснованно упрекает «буржуазных языковедов» в том, что они не занимаются регулированием языка. Разрешение же вопросов нормализации научно-технического языка в

социалистическом обществе должно базироваться на общих тенденциях развития культур и языков – национальных по форме и социалистических по содержанию.

Такое развитие приведет на завершающем этапе к общей социалистической культуре и к общему языку, которые будут уже едины и по содержанию, и по форме. Но это культурно-языковое единение – факт отдаленного будущего. А пока речь должна идти о принципе «пропорциональной интернациональности» технического языка, в чем Э.К. Дрезен полностью солидаризируется с О. Вюстером. При этом понятие «пропорциональной интернациональности» понимается как стремление развивать национальные языки на национальной основе с одновременным установлением путей, ведущих к будущему мировому языку.

Мировой язык – это, конечно, эсперанто. Но в целом к «временной» интернациональности Э.К. Дрезен относится весьма положительно: «Если тот или другой термин является широко известным в пределах данного народа, то отнюдь нет нужды его обязательно заменять каким-либо новым термином собственного, отечественного производства... Если слово “галоша” известно массам, то нет никакого смысла заменять его словом “мокроступ»...” (там же, с. 94). Таким образом, рецензия достаточно адекватно в той исторической ситуации дала регулятивную установку заинтересованным специалистам по использованию книги О. Вюстера в профессиональной деятельности.

Сложилась специфическая ситуация вокруг книги О. Вюстера. Книга была всегда доступна отечественным терминологам, но никогда не цитировалась. На нее делались только ссылки, правда, немногочисленные. Это дало повод много лет спустя зарубежным терминологам говорить о том, что О. Вюстер оказал всего лишь косвенное влияние на развитие советского терминоведения. Если под словом «косвенное» понимать всю ту совокупность субъективных и объективных моментов, воспрепятствовавших прямой рецепции О. Вюстера (идеология, философская установка на Карнапа и Венский кружок, понятийно ориентированная концепция, отсутствие теории термина, междисциплинарность его взглядов и др.), тогда О. Вюстер действительно не был образцом для подражания. Все-таки очевидно при этом, что его книга давала значительные творческие импульсы отечественным терминологам.

Неразрешенным остается только гносеологический вопрос, как такая мощная фигура, как О. Вюстер, будучи постоянным генератором терминологических идей, не смогла воздействовать определяюще на научную традицию в России. Такое несогласие с О. Вюстером проявилось уже в переводе его книги на русский язык. Собственно перевода книги не было. Был довольно приблизительный пересказ содержания, зачастую с заменой примеров из других языков на примеры из русского языка. Опускались целые страницы исходного текста с неясными местами или с комментариями отдельных философов (Оствальд, Ницше).

Ясно, что Вюстера следовало приблизить к отечественному терминоведению. Но сделать это было невозможно – философско-категориальная система О. Вюстера в корне отличалась от русской традиции. Уже в 1936 г. Э.К. Дрезен показал это блестяще в своей книге «Научно-технические термины и обозначения и их стандартизация» (7). Глава о терминах называется «Научно-технические термины и понятия».

Оттолкнувшись от книги О. Вюстера, Э.К. Дрезен продемонстрировал, как *enfant terrible*, что нужно для изучения терминологии. О. Вюстер для обсуждения в своей книге представил следующие проблемы: необходимость стандартизации национальных научно-технических языков, понятия и слова, внешняя и внутренняя форма языка, постоянные словосочетания, составные слова, словопроизводство, производные понятия, качественная оценка языка, интернациональность, свободное развитие технического языка, органы стандартизации технического языка, внешняя координация языков, внутренняя координация языков и т.д.

Обсуждавшиеся проблемы из книги Э.К. Дрезена были иными. Но именно эти терминоведческие изобретения на долгие годы определили принципы терминологического анализа в нашей стране: требования, предъявляемые к языку наукой и техникой, неточность выражений и научно-техническая бедность языка, техника и ученые – творцы новой терминологии, возможности и формы словопроизводства, нечеткость значения и изменчивость словоэлементов, нечеткость правил словообразования и терминопредварения, перспективы установления строго обусловленных зависимостей между формами и содержанием терминов, обогащение научно-технической терминологии, оформление новых терминов, заимст-

вования внешней формы терминов у других языков, заимствование внутренней формы у других языков, борьба между параллельно существующими в языке синонимическими терминами, недостатки научно-технической терминологии и их следствия, требования, предъявляемые к научно-техническому термину, неудовлетворительность формы термина, неточности и неясности терминов, потери вследствие неудовлетворительной и неточной терминологии, определения научно-технических терминов, классификационные номенклатуры, предпосылки правильного выбора термина, четкость понятия и ее предпосылки, четкая классификация понятий, плановое воздействие на язык.

На основе этого материала нетрудно сделать выводы о том, что понимание терминоведения у обоих авторов совершенно различное. Для О. Вюстера терминоведение – это прикладная лингвистика. Э.К. Дрезен видит в терминоведении изначально теоретическую составляющую, т.е. выводит терминоведение сразу на уровень самостоятельной дисциплины. Традиционно О. Вюстер рассматривает термины в составе научно-технического языка, в то время как Э.К. Дрезен говорит, в основном, о самодостаточности внутритерминологической проблематики. Исходно для О. Вюстера терминоведение ассоциируется с логико-понятийной проблематикой, а для Э.К. Дрезена терминоведение – это формально-лингвистические проблемы.

Наибольшие последствия в истории терминоведения имели размышления О. Вюстера о качественной оценке языка. В терминологической традиции закрепились понятия точности и однозначности (в разных модификациях этих слов). Для характеристики понятия точности в научно-техническом языке О. Вюстер употреблял слова: различимость, однозначность (отсутствие синонимов и омонимов), одно-однозначность, ясность каждого понятия, четкость, меткость, целесообразность, краткость. При этом точность коррелирует у него с понятием удобства, но удобство должно уступать свойству точности. Все явления в техническом языке, не соответствующие понятию точности, вредны для него: омонимия, синонимия, многозначность.

Вновь отечественные терминологи вспомнили о О. Вюстере лишь в 1974 г., когда он опубликовал статью «Общее терминоведение как пограничная дисциплина на стыке языкознания, логики,

онтологии, информатики и отраслевых наук» (23). Поскольку в те годы было модным понятие междисциплинарности, некоторые отечественные терминологи поддержали идею пограничности терминоведения, отвергнув мнение В.В. Виноградова, что изучение термина относится к проблемам общего языкознания.

При этом время показало, что наибольшие результаты в науке о терминах все-таки достигаются, если термин изучается системой лингвистических методов с привлечением в необходимой мере методологии других наук, что, естественно, не придает терминоведению статуса пограничной дисциплины. Показательно, что последующие издания книги Вюстера и его курса по общему терминоведению и терминологической лексикографии не находили даже критического отношения со стороны советских терминологов. В целом отношение к творчеству выдающегося терминолога XX в. Ойгена Вюстера было в отечественном терминоведении скорее креативным, нежели подражательным или догматическим, поэтому терминологическое наследие Вюстера требует в отечественном терминоведении дальнейшего всестороннего и имманентного изучения.

Книга Вюстера стала последней доступной книгой в отечественной философии науки. Проблемы термина стали обсуждаться в автономизировавшейся отрасли науки – терминоведении, которое было полностью структуралистски и нормативно ориентированным. Научно-философский подход к языку науки утратился. В 1989 г. была опубликована статья П.А. Флоренского (1882–1943) «Термин», написанная в 1922 г. (23). Статья может дать значительные импульсы для философского осознания термина как компонента научной деятельности в целях адекватного его перевода в научных текстах.

П.А. Флоренский практически половину объема статьи посвящает изложению своих взглядов на язык. С осознания языка, его сути, его места в человеческой мысли начинается понимание терминологии. У Флоренского не было сомнений на этот счет. Теперь можно сожалеть, что дискуссия об отношении терминологии к литературному языку, о ее возможном выносе за пределы литературного языка проходила без знакомства терминологов с этой статьей. Многое, вероятно, решалось бы в этой проблеме по-другому.

В центре внимания П.А. Флоренского находится проблема языка науки. Флоренский пишет: «...наука и философия, будучи



языком, и только языком...» (17, т. 1, с. 360). Кому как не Флоренскому было ясно, что наука проявляется в языке, а не заменяется языком. «Словом созревшим» называет он язык науки и философии. В то же время он понимает, что «зрелое слово как-то отвечает реальности, есть само образ реальности» (там же, с. 364). Флоренского прежде всего занимают «строение и функции этого культивированного слова». Вот как они им определяются: «Искомому слову должно быть крепчайшим упором мысли, как сокровищнице исторической всего человечества, как народному и даже все-народному условию духовной жизни; оно должно выситься пред каждым индивидуальным сознанием безусловною данностью, непоколебимым маяком на пути постижения жизни; оно – говоря предельно – есть некое окончательное слово, которое настолько попало в самую точку, в самую суть познаваемой реальности, настолько в нем выразилась природа человечности, – что никто и никогда не посмеет и не сумеет посягнуть на это слово, не обкрадывая духовно себя самого» (там же, с. 361).

Слово это, по Флоренскому, «пластично до предела, оно поддается тончайшим веяниям духа, отпечатлевая их и запечатлеваясь ими». Флоренский, как никто другой, понимает антиномии научного слова – его устойчивость и «все-приспособительность», его определенность и способность к новым обогащениям и т.д. В классификации технических выражений Флоренский придерживается точки зрения В. Уэвелля. Видовые названия дают номенклатуру науки. Номенклатура, утверждает Флоренский, это «главное достояние соответствующих областей знания» (там же, с. 371).

Здесь же Флоренский (ссылаясь на Лотце и Гумбольдта) говорит о том, что если при возникновении слова устанавливается «внутренне-обязательная... связь внешнего выражения и внутреннего содержания», то слово превращается в символ, т.е. в языковой знак наивысшего уровня качества. На ступени «после углубления имен» речь уже идет о термине. Теперь этот процесс называется переходом мысли от номена к термину, т.е. на более абстрактный уровень мышления. Совокупность терминов будет называться терминологией. Каждый термин сопровождается реальным определением, которое по сути своей является описанием открытого автором термина закона.

Тем самым с помощью термина «мышление самоопределяется», мышление развивается, используя «подвижную неподвижность» мысли. Флоренский не дал классического определения термина, ограничившись несколькими определениями других авторов. Однако образное, антиномичное объяснение сути термина будет иметь, безусловно, эвристическую ценность: «Недвижно стоящий пред мыслию, он на самом деле есть живое усилие мысли, наибольшее обнаружение ее напряженности. И чем неподвижнее термин, тем отчетливее и тверже стоит он пред сознанием, тем большая требуется жизнь мысли. История термина есть ряд творческих усилий мысли, наслояющей себе вокруг основного ядра все новые препятствия, чтобы, сконцентрировав себя, приобрести новую силу и новую свободу» (там же, с. 388).

Достаточно легко уловить когнитивный параллелизм системы суждений о термине П.А. Флоренского и тенденции развития филогенетического состава терминологических знаний в отечественном терминоведении (термин как элемент мыслительной деятельности человека, термин как представитель интеллектуализированной части литературного языка, термин как динамический компонент языка и мышления). Гносеологическое понимание термина, с которого должно было начаться отечественное терминоведение, сумело пробить себе дорогу сквозь многие десятилетия, «отразившись», как в зеркале, в нашедшей своего читателя статье П.А. Флоренского в 1989 г.

Далее мы остановимся на высказываниях ученых о научном переводе; ученых, представляющих такие отрасли философского знания, как гносеология, эпистемология, логика и герменевтика.

Гносеология может быть определена как общая теория познавательной деятельности, т.е. она входит в качестве составляющей в любую философскую систему или философское направление. Если признавать полипарадигмальный характер науки, интерес для научного перевода представляют любые взгляды на познавательный процесс, вне зависимости от философской принадлежности.

Поскольку мы ведем речь о переводе научных текстов, то и исходить будем из той части гносеологии, которая занимается процессами изучения научного знания, т.е. из эпистемологии. Стройной систематизации проблем эпистемологии пока не существует,

поэтому заявленные категории есть фрагменты исторически сложившегося знания о научных процессах, а посему они не имеют строгих демаркационных границ. При этом важно осознать одно: какова роль языка в научном познании и как эти научные языки могут быть сопоставлены в их национально-языковых вариантах при переводе научных текстов.

Философские взгляды на язык в принципе общеизвестны. В связи с гносеологической тематикой в научном переводе замечу, что и в гносеологии мы можем говорить о языке как инструменте познания или языке как детерминанте в познании.

Начну с французского просветителя-сенсуалиста Э.Б. Кондильяка (1715–1780), чтобы увидеть, как трудно бороться с властью языка.

«Мы полагаем, будто приобретаем настоящие познания, в то время как наши мысли вращаются лишь вокруг слов, не имеющих никакого определенного смысла» (10, с. 19).

«[Философы] сформулировали бесчисленное множество туманных определений и абстрактных принципов; благодаря таким терминам, как сущее, субстанция, сущность, свойство и т.д., они вообразили себе, что могут объяснить все на свете» (там же, с. 49).

«Если, как я полагаю, мною доказано, что правильно трактуемая наука есть лишь хорошо построенный язык, то нет науки, которая была бы не под силу разумному человеку, поскольку всякий хорошо построенный язык есть понятный язык» (там же, с. 186).

И еще одна просто гениальная фраза Кондильяка: «Вы хотите, чтобы изучение наук давалось вам легко? Начинайте с изучения своего языка» (там же, с. 188). Согласимся, хороший переводчик – это знаток своего родного языка.

На развитие проблемы языка и познания в этом направлении значительное влияние оказала научная деятельность немецкого философа-феноменолога Эдмунда Гуссерля (1859–1938). Его установка – изучать явления как не связанные между собой сущности или феномены – не могла не включить в себя и оценку языковых функций в этом процессе. Ограничусь одной цитатой из его первого феноменологического исследования «Логические исследования» (1900–1901): «Язык представляет мыслителю широко применимую систему знаков для выражения его мыслей; но, хотя никто не мо-

жет обойтись без нее, она есть в высшей степени несовершенное вспомогательное средство для точного исследования... Осторожный исследователь может пользоваться языком, лишь искусно обезопасив его; он должен определять употребляемые им термины, поскольку они лишены однозначного и точного смысла» (6, с. 193).

Концентрацию языковой проблематики находим в логике как составной части гносеологии. «Логика» Кондильяка, опубликованная в 1780 г. (рус. перевод 1805 г.), практически вся посвящена языку научных сочинений. Кондильяк весьма категоричен, когда говорит, что мысль возникла у человека вместе с языком (11, т. 3, с. 233). Ученый не сомневается в том, что «языки создают наши знания, мнения и предрассудки» (там же, с. 241), поэтому язык науки можно сделать точным, если его хорошо построить (там же, с. 244). Язык же можно построить хорошо, если ему предшествует точный анализ (там же, с. 246).

В 1921 г. Л. Витгенштейн (1889–1951), представитель аналитической философии, публикует «Логико-философский трактат», в котором мысль об идеальном логическом языке приобрела весьма резкие очертания, причем язык, по Витгенштейну, есть граница онтологии. Однако в течение дальнейшей жизни Витгенштейн, скептически относясь к своему первому произведению, развивал идею языковой игры, заключающейся в том, что субъекты-участники игры занимаются исключительно выяснением значений слов и их порождением, создавая новые языковые контексты, т.е. новые значения (2).

Идеей плывущих значений в языке заразился известный британский философ Карл Поппер (1902–1994), что сделало его антогонистом позитивистов, так рьяно ратовавших за упорядоченный научный язык. У Поппера, как известно, весь мир является открытым, происходит постоянный рост научного знания, изменяются значения слов и расшатывается их объем и содержание. В «Открытом обществе» (1945) К. Поппер исступленно доказывает, какими разнозначными могут быть термины в науке. Приведу несколько цитат.

Ни Аристотель, ни громадное большинство современных авторов не понимают, что аналогичная попытка определить значение всех наших терминов должна точно так же привести к регрессу в бесконечность в определениях. Следующий отрывок из книги

Р. Кроссмана «Plato To-Day» характерен для того воззрения, которое неявно принимается многими известными современными философами, например Л. Витгенштейном: «...если мы не знаем точных значений используемых нами слов, мы не можем ожидать какой-либо пользы от наших дискуссий. Большинство пустых споров, на которые все мы тратим время, в основном возникают из-за того, что каждый из нас имеет в виду свои собственные смутные значения используемых слов и предполагает, что наши оппоненты используют их в том же самом смысле. Если бы мы с самого начала определили наши термины, то наши дискуссии могли бы стать намного более полезными. Достаточно только почитать ежедневные газеты, чтобы заметить, что успех пропаганды (современного аналога риторики) зависит главным образом от степени запутанности значений терминов. Если политиков с помощью специального закона заставили бы определять любой термин, который они собираются использовать, они потеряли бы большую часть своей привлекательности, их речи были бы короче и многие их разногласия оказались бы чисто словесными». Этот отрывок хорошо характеризует один из предрассудков, обязанный своим происхождением Аристотелю, – предрассудок, согласно которому можно придать языку большую точность посредством использования определенных (15, т. 2, с. 25).

«Воззрение, согласно которому точность науки и научного языка зависит от точности терминов, конечно, выглядит весьма привлекательно, но тем не менее я полагаю, что оно – предрассудок. Точность языка в большей степени зависит от нашего стремления не перегружать термины с целью быть точными» (там же, с. 28).

Против логики в языке и грамматике выступал немецкий философ-экзистенциалист Мартин Хайдеггер (1889–1976). Об этом он писал уже в 1927 г. в работе «Бытие и время»: «Задача освобождения грамматики от логики предварительно требует позитивного понимания априорной основоструктуры речи вообще как экзистенциала и не может быть выполнена путем привнесений через усовершенствования и дополнения к традиционному» (20, с. 165–166). В работе о Платоне 1947 г. Хайдеггер определил язык как дом бытия, который разрушается по мере его технизации, сохраняясь только в поэзии (18, с. 753).

В отечественной традиции, начавшейся в явном виде с «Логики» А.И. Введенского, вышедшей первым изданием в 1909 г. (1), возобладала тенденция к нормативному использованию языка науки, которая продолжается до сих пор.

Однако в процессах перевода вопросы плывущих значений, разночтений в классификационных схемах, противостояния логики и грамматики стоят весьма остро. При этом важно заметить, что не совпадают между языками не столько классификации, сколько их номинации. Так, термин *Gattung* обозначает в немецком языке и вид искусства (*Architektur, Plastik, Malerei*), и жанр в искусстве (*Landschaftsmalerei: Gattung der Malerei*).

Даже в языке техники есть случаи нарушения «языковой» логики, которые подтверждаются обычно хрестоматийным примером из учебников по автомобилестроению: «Шатун состоит из верхней головки, шатуна и нижней головки». Если этот текст подлежит переводу, то невольно возникает вопрос: что должен переводить переводчик в данном случае – язык, логику или отсутствие логики?

К сожалению, при переводе расходящихся классификационных структур обнаруживается нехватка номинаций в переводящем языке. Вряд ли может быть хрестоматийное решение этого вопроса. Так, при эволюционном описании истории в немецком языке прибегают к терминам *Entstehungsgeschichte, Entwicklungsgeschichte, Wirkungsgeschichte*. В русском переводе приходится совмещать терминологию эволюционную с элементарной хронологией: генезис, онто- и филогенез, современная история. Есть в переводе определенное нарушение логики, но от такого перевода явно будет меньший логический вред, чем от перевода немецких терминов по внутренним формам.

Еще одной традиционно лингвофилософской научной отраслью является герменевтика. Термин имеет греческое происхождение и соответствует в латинском языке понятию «интерпретация». Однако в отечественной философии герменевтические проблемы обсуждались чаще всего под категорией «понимания». Традиция продолжает существовать и перенесена в настоящее время в дисциплину, которая называется «История и философия науки».

Так, А.А. Ивин (9), например, сводит проблему понимания языка в научном тексте к осознанию значения слов и формированию представлений при их восприятии в контексте. Это действительно

так, если использовать термин «представление» в потебнианском понимании (16). А.А. Ивин ссылается при этом на аналогичные взгляды Х. Вайнриха (9). Чтобы в памяти сохранялся образ предмета (и даже понятия), необходимо посредничество языка. Отсюда прямой вывод для процесса перевода: при переводе с иностранного языка переводчик должен как бы постоянно восстанавливать эту опосредованную связь между словом, представлением и контекстом в иностранном языке. В большинстве случаев эта триада у переводчика – дидактическая, а не органическая, как это имеет место в родном языке.

Таким образом, чтобы понимать иностранный текст, необходимо путем лингводидактических операций на основе слов, которые имеют, по мысли А.А. Ивина, растянутые, неопределенные и абстрактные значения, уметь порождать на родном языке точные, индивидуальные и конкретные смыслы, адекватные смыслам (представлениям) иностранного текста.

Действительно, очень важно при переводе текста помнить, что автор научного текста строит свою концепцию, исходя из своих представлений, обусловленных своим родным языком. Переводчику необходимо проникнуться этими представлениями, а не воспринимать иностранный текст, базируясь на собственных представлениях.

Обычно сформированность герменевтики как теории интерпретации возводится к деятельности Фридриха Шлейермахера (1768–1834), немецкого теолога и философа. С именем Шлейермахера связываются также и начала теории перевода, которые он, помимо собственно практической деятельности по переводу (переводы Платона), изложил в работе «О различных методах перевода», представленной в виде доклада в Академии наук в 1813 г. (22). Его внимание было сосредоточено на воспроизведении стиля автора переводимого текста, в угоду которому изменялся и стиль родного языка, т.е. он выступает за тип неадаптирующего перевода в его культуроистолковывающей функции. Видимо, поэтому его переводческие усилия были направлены на перевод деловой прозы. С.С. Гусев и Г.Л. Тульчинский выделяют у Шлейермахера такое истолкование текста, при котором герменевт понимает автора лучше, чем он сам себя (5, с. 27).

Значительный вклад в развитие идей герменевтики внес Вильгельм Дильтей (1833–1911). Свои методы интерпретации истории в принципе он свел к истолкованию письменных источников.

XX век – это век триумфального шествия герменевтики в Европе. Ученик Хайдеггера Ханс-Георг Гадамер (1900–2002) в изданной в 1965 г. книге «Wahrheit und Methode» (рус. перевод – 1988) обосновал герменевтику как философскую дисциплину. Гадамер сделал вывод о процессах языкового истолкования как онтологии и способе экзистенции человека, т.е. субъект направляет свое внимание на лингвистическое порождение смыслов, возникающих у герменевта, а не заложенных автором.

При этом Гадамеру ясно, что постулат «Нельзя вкладывать в текст ничего такого, чего не могли иметь в виду автор и первоначальный читатель» (4, с. 459) имеет силу лишь в редких случаях, а так называемое воспроизведение точки зрения автора «представляет собой лишь пустое место» (там же, с. 460).

Поскольку Гадамер много внимания уделял герменевтическим аспектам перевода, приведу некоторые его высказывания в виде цитат.

«Переводчик должен переносить подлежащий пониманию смысл в тот контекст, в котором живет данный участник беседы. Как известно, это вовсе не означает, что переводчик искажает смысл, который имел в виду другой собеседник. Напротив, смысл должен быть сохранен; поскольку, однако, он должен быть понят в контексте нового языкового мира, постольку он выражается теперь совсем по-иному. Поэтому всякий перевод уже является истолкованием; можно даже сказать, что он является завершением этого истолкования. ...Перевод не является также и нормой нашего отношения к чужому языку. Скорее необходимость прибегнуть к переводу похожа на утрату собеседниками их самостоятельности. Там, где требуется перевод, там приходится мириться с несоответствием между точным смыслом сказанного на одном и воспроизведенного на другом языке, – несоответствием, которое никогда не удастся полностью преодолеть» (там же, с. 447).

«Если мы действительно владеем языком, то нам уже не только не требуется перевод, но перевод кажется нам невозможным» (там же, с. 448).



«Всякий согласится, что перевод текста, как бы глубоко ни вжился и ни вчувствовался переводчик в своего автора, есть не восстановление того душевного состояния, в котором находился когда-то пишущий, но воспроизведение самого текста, руководствующееся пониманием смысла сказанного в этом тексте. Не может быть сомнений, что речь здесь идет об истолковании, а не простом повторении того же самого процесса. Текст предстает здесь перед читателем в новом свете, в свете другого языка. Требование верности оригиналу, которое мы предъявляем к переводу, не снимает принципиального различия между языками. Как бы мы ни стремились к точности, мы все равно вынуждены принимать подчас весьма сомнительные решения. Если мы хотим подчеркнуть в переводе какой-нибудь важный с нашей точки зрения момент оригинала, то нам ничего не остается, как лишь оставить в тени или вообще опустить другие его моменты» (там же, с. 449).

«Настоящее бедствие перевода в том, что единство замысла, заключенное в предложении, невозможно передать путем простой замены его членов соответствующими членами предложения другого языка, и переведенные книги представляют собой обычно настоящие чудовища, это набор букв, из которых вынули дух. Уникальные свойства языка, утрачиваемые в переводе, состоят в том, что любое слово в нем порождает другое, каждое слово в языке, так сказать, пробуждается другим, вызывая к жизни новые слова и открывая путь речевому потоку. Переведенное предложение, если, конечно, маститый переводчик не преобразил его так, что мы перестаем замечать стоящее за ним живое предложение оригинала, — все равно что карта в сравнении с ландшафтом. Слово имеет значение отнюдь не только в системе или контексте, само его нахождение в контексте предполагает, что слово никогда нельзя отделить от той многозначности, какой оно обладает само по себе — даже если контекстом ему придан однозначный смысл. Смысл, присущий данному слову в данном речевом событии, как видно, не исчерпывается наличным смыслом, присутствующим здесь и теперь» (3, с. 59).

Если спроецировать рассмотренные логико-гносеолого-герменевтические подходы к переводу на лингвистическую проблематику, то, очевидно, вскроются определенные особенности понимания перевода. Первая особенность заключается в том, что

сама категория соотношения языка и мышления является для языкознания основополагающей и дисциплинообразующей, т.е. является предметом языкознания. Однако, и это вторая особенность, в силу своей сложности предмет языкознания изучается в большей степени косвенно, т.е. со структурной и функциональной точек зрения.

Именно в этих аспектах происходит усвоение и инструментализация мыслительных категорий. Принципиальным является положение, что нет таких операциональных действий в мысли человека, которые не были бы зафиксированы в формах языка. А якобы отсутствующие в языке категории или имплицитны, или создаются алгоритмически на основе имеющихся языковых форм. Новые категории мысли выводятся скорее из уже сформировавшихся форм языка, нежели усилием воли ученого. Даже таблица Менделеева есть в какой-то мере языковая формула.

Как ни парадоксально, развитие логических категорий в единстве с языковыми формами и делает национальные языки различными. Априорность логических категорий, их нематериализованность невозможны. Мышление протекает не в абсолютных логических формах, а благодаря совокупным логико-лингвистическим операциям.

В переводе большим заблуждением оказывается такой вульгарно логический подход, при котором логика иностранного текста приравнивается к логике родного языка: нужно только поменять языковые формы.

Фактически же в процессе перевода научного текста мы декодируем логико-мыслительные особенности на основе языка текста и закрепляем их в формах родного языка, делая достоянием сообщества говорящих на другом языке как родном. Именно только переводчик может помочь читателю в осознании новых лингвологических структур и выразить их в виде «родных» лингвистических образований. Надуманные языковые формы, созданные переводчиком в угоду иностранному языку, а не в согласии с системой родного языка, – это ложное сохранение стиля подлинника.

Даже такие «поэтические» словоупотребления Хайдеггера, как *Dasein* и *Insein*, *Innensein*, соответствуют нормам немецкого языка и не могут появляться в русском языке в формах «бытие-вот» и «бытие-в». Тем более недопустима адаптация иностранного языка в русских формах типа бытие.

### Список литературы

1. Введенский А.И. Логика, как часть теории познания. – СПб., 1912. – 510 с.
2. Витгенштейн Л. Логико-философский трактат // Витгенштейн Л. Философские работы. – М., 1994. – Ч. 1. – С. 1–73.
3. Гадамер Г.-Г. Актуальность прекрасного. – М., 1991. – 367 с.
4. Гадамер Г.-Г. Истина и метод: Основы философской герменевтики. – М., 1988. – 700 с.
5. Гусев С.С., Тульчинский Г.Л. Проблема понимания в философии. – М., 1985. – 192 с.
6. Гуссерль Э. Логические исследования // Гуссерль Э. Философия как строгая наука. – Новочеркасск, 1994. – Т. 1. – С. 175–353.
7. Дрезен Э.К. Нормализация технического языка при капитализме и социализме // Международный язык. – М., 1932. – Кн. 7/8. – С. 231–238; Кн. 11/12. – С. 343–346.
8. Дрезен Э.К. Научно-технические термины и обозначения и их стандартизация. – М., 1936. – 136 с.
9. Ивин А.А. Современная философия науки. – М., 2005. – 592 с.
10. Кондильяк Э.Б. де. Трактат о системах (1749 г.) // Кондильяк Э.Б. де. Сочинения: В 3 т. / Пер. с фр. – М., 1982. – Т. 2. – С. 5–188.
11. Кондильяк Э.Б. де. Логика, или Начала искусства мыслить // Там же. – М., 1983. – Т. 3. – С. 183–270.
12. Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. – 2 изд. – Т. 3. – С. 2–544.
13. Микешина Л.А. Философия науки. – М., 2005. – 463 с.
14. Ольшевский Л. История научной литературы на новых языках. – М.; Л., 1933–1934. – Т. 1–3.
15. Поппер К. Открытое общество и его враги / Пер. с англ. – М., 1992. – Т. 1–2.
16. Потебня А.А. Мысль и язык, [1862] // Потебня А.А. Эстетика и поэтика. – М., 1976. – С. 35–220.
17. Татаринов В.А. История отечественного терминоведения. – М., 1994 – 2003. – Т. 1–3.
18. Философский энциклопедический словарь. – М., 1983. – 840 с.
19. Флоренский П.А. Термин // Вопросы языкознания. – М., 1989. – № 1. – С. 121–133; № 3. – С. 104–117.
20. Хайдеггер М. Бытие и время / Пер. с нем. – 2 изд. – СПб., 2002. – 451 с.
21. Olschki L. Geschichte der neusprachlichen Literatur. – Leipzig et al., 1919–1927. – Bd. 1–3.

22. *Schleiermacher F.* Über die verschiedenen Methoden des Übersetzens // *Schleiermacher F.* Samtliche Werke. – B., 1838. – Bd. 2. – S. 207–245.
23. *Wüster E.* Internationale Sprachnormung in der Technik, besonders in der Elektrotechnik. – B., 1931. – 431 S.
24. *Wüster E.* Die allgemeine Terminologielehre – ein Grenzgebiet zwischen Sprachwissenschaft, Logik, Ontologie, Informatik und den Sachwissenschaften // *Linguistics*. – 1974. – N 119. – S. 61–106.